

МЕТЕЛЬ

Он приехал в город, когда тоска и уверенность в собственной ничтожности настолько захватила меня, что стало сложно передвигаться — вставать с кровати, есть, пить чай. Я дорожила этим состоянием, потому что, по крайней мере, оно казалось мне наиболее правдивым. Идти в университет было страшно — там я вновь натягивала на себя презерватив восприятия, как броню, в которой я была очень сильной — вернее, наоборот, сверхслабой, как маленький ребёнок, ползающий по полу и натыкающийся на предметы — и абсолютно ненастоящей. Там я здоровалась с людьми, кивала головой, улыбалась, спрашивала задания, время и названия пар — делала всё, что нужно делать, когда тебе оплатили четыре года обучения.

Он приехал в город, и я ушла с работы. Было больно и стыдно врать, глядя ему в глаза. Как будто бьёшь ребёнка. Я тогда ещё не понимала, что была этим ребёнком сама. Я могла обманывать себя и вообще кого угодно, но не его. Он отважился, он бросил свою мастерскую и глину, он перестал оправдывать своё существование перед всем миром — вернее, перед так называемым «социумом» — какими-либо действиями и не требовал никаких оправданий от меня. И я бросила писать. Тексты, маленькие и большие, с длинными и короткими заголовками, написанные со злобой — потому что нужно выполнять задание — или с трепетом, потому что мне это казалось важным — всё бросила. Из редакции меня отпустили с миром. В первый, может быть, раз, я говорила с редакторшей, открывшись ей. Она внимательно смотрела на меня, но вряд ли до конца понимала, что происходит, боялась бледности моего лица. А если и понимала, то уже давно перестала сражаться и хотела продолжать жить так, как жила все эти двадцать шесть лет, проработанные в университетской областной еженедельной газете «Вестник». Таких, наверное, тысячи. И ещё тысячи жизней, давно бросивших борьбу и живущих по инерции.

Это был самый зимний ноябрь за всю мою жизнь. Мы поняли,

что пора наведаться домой — и поехали в город, в котором я родилась. За восемь километров от него, покрытое снегом, спало заброшенное село Никольское, на берегу которого мы провели лучшую половину лета. Это место подарило нам столько любви в ветре, касающемся щёк, в солнечном свете — всегда разном и стоящем выше любого искусства, виденного или даже — я уверена — не виденного мной. Мы пока не отблагодарили Никольское ничем, а оно молчаливо, смиренно ничего и не требовало. Но перед ним тоже было стыдно, как перед ребёнком.

Дорога до Никольского оказалась не замечена — иногда на снегоходе в город ездил дядь Женя — единственный постоянный житель села. Несмотря на это, я утопала в снегу, но ощущение правильности происходящего давало много сил для продолжения движения. Шёл тёплый снег и заметал все заледенелости, жалея нас — добирающихся домой в старых скользящих осенних ботинках. По всему телу разливалось тепло, покалывало кончики пальцев. Я могла нагреть перчатки и поделиться с ним — его руки быстро остывали. Пока он вбирал в себя оставшееся на них тепло, я нагревала его продырявленные на мизинце рукавицы. На всю дорогу мы вынырнули из-под воды, вынырнули из скроенного умом «себя», и попали в непонятное время суток и — со всех сторон — бескрайние, заметённые снегом поля. Останавливались и долго смотрели, прислушивались. Чуть в стороне от елей, выздоравливающих после страданий осени, стояла одинокая пожелтевшая берёза с изогнутой толстой ветвью, вывернутой в сторону елей. На белой коре чёрными овалами прорезались глаза. «Засмотрелась на них и так и выросла», — сказал он. В ушах звучала тишина гулом ветра и тихими разговорами деревьев, похожими на журчание воды. Везде чудились родники.

Мы дошли до села, когда почти стемнело. Я знала, будь здесь одна — и убежала бы уже от страха, не стала бы спускаться к Волге по сугробам. Вера и бесстрашие через него наполняли меня. Внизу ничего не изменилось. У меня случилась уже тысяча и одно переживание, которые, думала, можно и не выдержать — а здесь даже Волга не замёрзла. Мне показалось, что, в сущности,

камни под водой или камни под снегом — никакой разницы, и только мой ум всё твердит — «зима, холод, смерть». Но недолго казалось, вскоре ум одержал победу, и в моей голове, минуя сознание, забились мысль, что неплохо было бы согреться. Но он был спокоен, не менял шага и приветствовал всё вокруг. «Костёр сейчас разожжём. У тебя есть бумага?» — мы пришли на место, которое называли домом. Стены из плавника, «выстроенные» нами летом, уложены ветром, занесены снегом. Он снял перчатки и убрал рукой снег с досок, выброшенных волнами — они служили летом нашим столом. И — может быть, когда-то — чьим-то полом. Наломал веток, стряхнув снег и с них. Я смотрела на него и ко мне возвращалось спокойствие. Он смахивал снег так, как смахнул бы хлебные крошки со стола.

«Всё же есть какая-то польза от того, что я учусь в университете. Если бы я не взяла тетрадку по теории коммуникаций, чем бы мы костёр разожгли?». Он улыбался. Конечно, нашёл бы, чем разжечь. Мы пожарили хлеб и согрели чай. С самого утра ничего не ели. Но этот хлеб и этот чай стоил всей еды, съеденной, может быть, за последний месяц.

Не заметили, как на берег опустился зимний вечер. Тёмный и холодный. Во мне снова проснулся страх. Он был всё также спокоен. потушил костёр, надел свои рукавицы. От него пахло детством, печеньем, талым снегом — тёплой кожей и стекающей по ней водой.

Подъём давался мне нелегко. Голова кружилась, а биение моего сердца, наверное, слышали даже лисы, на следы которых мы не раз натыкались. Пережёвывая свои переживания, я совсем забросила тело, которое теперь оказалось не готово к таким физическим нагрузкам. Зима, в противовес лету, напоминавшему своим заигравшимся детям — остановитесь, отдохните, подумайте, что вы делаете? — была сурова. Она говорила: не будешь двигаться — умрёшь. А двигаться нужно было очень осознанно. Если двигаться неосознанно, как этот ребёнок, натыкающийся на предметы, слепо, панически — тоже умрёшь. Когда мы вышли на тропу, я перестала бояться, вернулось спокойствие и тепло.

Вынырнула. Он сбивался с узкой тропы и шёл по снегу, но не отпускал моей руки, пока я не сказала, что всё — не страшно.

Стоило ступить в город — и резанула по телу боль в ногах и голод. Мы пошли ночевать к Ларе Михайловне — библиотекарю из школы, в которой я училась. Она была единственным человеком, поверившим в меня в те годы, когда я бродила по школьным коридорам тенью маленькой некрасивой девочки и шугалась дразнивших меня детей. Родители не понимали, отчего я прихожу домой и всё время плачу. Им не нравилось, что я пропускаю школу. Лара Михайловна позвала меня в школьную газету и, мало-помалу, всё переменялось. А я узнала, что просто так ничего не даётся. Хотя, я давно уже это узнала. Ещё тогда, когда мать вела меня из школы, а я спросила у неё: «Если бы у тебя был выбор — стать красивой или умной, что бы ты выбрала?». Она ответила — «красивой». А я выдернула руку из её руки и больше никогда её не касалась. Я тогда твёрдо решила, что нужно стать умной. Но не становилась пока, хотя и читала всё время книжки. Может быть, верила ещё в возможность своей красоты.

Лара Михайловна не могла без людей и в её большом доме всё время кто-то был. Она так и говорила, не скрываясь, что без людей на неё находит тоска. Без людей всё кажется бессмысленным. Я никогда не обращала внимания на эти слова и не говорила с ней об этом. Мне было позволено привозить с собой друзей и знакомить с городом — с горами и полями. Здесь иногда я открывалась им, хотя тоже вслепую и, может быть, лишь на пару мгновений — чтобы не обидели. С ней же всегда общалась через презерватив — кивая головой. Потому что просто так, как есть, ничего не даётся. Так, как есть, никто не полюбит маленькую некрасивую девочку.

Лара Михайловна рассказала, что у неё был микроинсульт. Она попросила у меня как у журналиста — и я передёрнулась — помочь в оформлении школьной газеты. Она не знала, что я ушла с работы. Пока он делал чай, я забивала в колонки сказки Лары Михайловны, подписанные именами школьников. В соста-

в редакции была куча фамилий, но я знала, что почти всё пишет она сама. Несколько лет назад почти всё писала я. Писала, что просили. Или то, что видела. И — совсем немного — что хотела. Думала, что дальше всё как-то само собой перемениться — видимо, должно было перемениться без моего участия. Как можно безболезненнее.

Недавно Лара Михайловна написала заметку в местную газету о моей встрече со школьниками. «Путь к успеху». Бабули читали и плакали. Они думали и думают — я делаю то, что хочу. Они надеются. Мне теперь было странно не представлять собой функцию, странно быть никем, не оправдывать ничьих надежд, ничего не делать и находиться здесь.

«Напиши советы юным журналистам», — сказала Лара Михайловна. Я встала в ступор, как будто написать нужно было руководство по использованию ядерного реактора.

«Может быть, завтра утром я ещё поправлю колонки? Тексты посмотрю». Газета выглядела жалко. И абсолютно не имела смысла.

«Всё, уже распечатывать пора, нет времени править».

«Зачем тогда вообще делать? Ради чего?» — подумала я. Не сказала.

Написала что-то про мечту. Про ненавязанную никем мечту. «Я с тобой не согласна. Если бы я не навязывала газету — разве стала бы ты ей заниматься?» Ещё один ступор. Я не помнила. Не помнила по-настоящему, хотела ли заниматься этим или взялась за газету, чтобы доказать, что вот эта тень, бродящая по коридорам чего-то стоит. «Помните, вы рассказывали о мальчике из начальных классов, который хочет быть сварщиком, потому что родители сказали, что они лопатой деньги гребут. Я об этом». «Это же его выбор, никто ему ничего не навязывает, он просто видит, что с деньгами комфортно и хочет комфорта».

Моя усталая голова, кружившаяся от голода, отключилась. Я посмотрела в глаза Лары Михайловны, исчёрканные сетями лопнувших капилляров, и ничего не подумала — ощутила боль. Боль эта не выходила из нашего разговора. Она вообще произошла

не из ума, который мог бы тут же оформить его в концепцию или даже несколько концепций. И, в то же время, она была по-настоящему правдива, ясна, логична. Просто я в первый раз в жизни увидела Лару Михайловну. Не её функцию в моей жизни, а человека и боль, которую он несёт. Это так поразило меня, что «реальность», за которую я со страхом хваталась, выстроенную умом и существующую лишь в его рамках, в которой каждый человек был функционален — поплыла. Снова стало страшно, но теперь я знала, что это как с зимой. Нельзя поддаваться слепой панике. Я ушла в зал, где он сидел и пил чай. Он не был для меня функцией. Села за стол. У Лары Михайловны всегда работает телевизор, был он включен и сейчас. В нём рассказывали об африканской чуме, которая поразила несколько миллиардов свиней в России. Чиновник с полуулыбкой говорил невидимому корреспонденту: «Их всех надо сжигать. Инфекция передаётся очень быстро». Картинки мёртвых свиней на экране чередовали друг друга.

«Я всегда раньше боялась смотреть телевизор. Теперь не хочу бояться», — сказала я ему и застыла, поражённая новыми мыслями, которые шли не из раздутой головы, не из привычного мышления, не из книжек прочитанных мной — а прямо из происходящего вот здесь, в эту секунду. Я ушла в комнату, в которой нас расположила на ночлег Лара Михайловна. Этой ночью я услышала себя. Голос из детства.

Я слушала её всю ночь, но доверилась она не мне. Меня она боялась. Я полжизни наступала ей на горло. «Заткнись», — говорила. «Заткнись, людям не понравится то, что ты говоришь». «Заткнись, люди не примут тебя». «Заткнись, никто не полюбит тебя». Она доверилась ему. Она разговаривала с ним всю ночь.

«Я поняла, почему мне всегда было так страшно смотреть телевизор. Почему казалось, что „реальность“ уплывает, а я схожу с ума. Уплывали концепции, а реальный мир пробивался ко мне сквозь отчуждение. Мир и его страшная боль. Кажется, люди не были раньше такими мелкими. Судя по книгам. А мы попрятались по своим норам и живём в комфорте. Смотрим картинки.

Не дома, к которым мы приложили руку и сердце, а картонные коробки, склеенные из книг, журналов, газет и рекламных проспектов, отлаианных и перепощенных записей. Передвигаемся в маршрутках-железных гробах от работы до дома, за окном — картинки. Люди — картинки. Не осязаем этот мир, не впускаем его в себя. Мы не ходим по нему. Нас всех очень испугали. Люди смотрят телевизор и им страшно жить. После новостей, рассказы-вающихся об очередном теракте — КВН. Настоящее кажется игрушечным, а игрушечное, картонное — настоящее. Перевертыши. Кажется, ничего от нас не зависит в этой игрушечной реальности. А „дом“ — это только квартира, даже нет — комната, в которой мы смотрим фильмы. Ячейка из бетона. Послушай, как будто в доме живёт одна большая семья. И все знают, что происходит что-то страшное. Но молчат, потому что так не будет боли, так легче — жить и смотреть картинки в своё удовольствие. Я теперь точно понимаю, почему кажется, что сойду с ума, когда „реальность“ плывёт передо мной. Я столько всего плохого сделала, что очень страшно осознать это. Но, говорят, Бог даёт видеть правду, когда на то хватает сил. Что мы делаем со своим домом? Наши дети вырастут во лжи, в перевернутом мире, и не будут знать, что может быть и по-другому».

«То, что по телевизору — не правда. Когда едешь стопом, видишь, сколько добра вокруг», — он надолго замолчал. — «Бог показывает каково с ним и каково без него».

Он привёз с собой церковную свечу, она освещала комнату и нас. Воск расплавился и пламя разделилось надвое. Второй огонёк быстро начал тухнуть и первый, яркий, ринулся к нему. На мгновение они оба почти потухли, и в комнате стало темно. Но не успела я осознать это, как они соединились в одно, и огонь разгорелся с ещё большей силой.

Утром мы испекли хлеб на подошедшей за ночь закваске, и отправились к моей бабушке. Я сказала ей, что приду и хотела прийти собой. Я не рассказывала бабушке, чем живу — приезжала и молчала, работая в своей комнате. Механически выполняла требуемые от меня действия. Так я убивала себя. И так мои

родители стали тем же, чем всегда были случайные маршруточные попутчики, лиц которых я почти никогда не видела. Это – попутчики, а это – родители, а вот это – однокурсники.

Она говорила, что ничего не ест. Хочет купить колбасы, но приходит в магазин, смотрит на полки и уходит. «Не знаю я, чего там брать. Так много этих колбас. Я ведь не разбираюсь. Чего? Нет, не надо. Ты тоже не разбираешься». Я тогда не поняла её. А тут – зашла по пути в магазин и дошло – да, не разбираюсь. В этих переполненных полках, на которых пустота.

«Что это за мужик с тобой приехал?», – спрашивала бабушка по телефону, в ответ на первую за много лет правду. Она часто говорила, что боится за меня. По телевизору показывают страшные вещи про сожжённых девочек. А где я – никогда неизвестно. Тяжело дышалось, но я вела его с собой.

«Вот, бабуль, мужик, знакомься».

«А я на рынок ходила, там Любку встретила, да. Как её фамилия? Да что ж такое. Совсем в голове каша».

Щи, картошка, тушёная капуста. «Сынок, ты на кровать не садись». На кровать садиться нельзя, потому что её недавно стирали. А из сервизов нельзя пить, потому что они красивые. Их до праздников берегут, как и жизнь.

«А ты что, работаешь? С семьёй живёшь? В квартире? А почему ты не бреешься?»

«Ну что ты стоишь, щи остынут! Чего ты встала! Дай-ка сюда, сама налью! Давай быстрее, чего стоишь?» «Щи остынут!» «Чай остынет!» «Неси быстрее!».

«Сынок, ты что не садишься? Как „не устал“. Ходили в такую даль. Эта тебя соблазнила в село идти?»

Тяжело дышалось. «Зачем?», – спрашивала. «У тебя руки трясутся, давай я налью», – просила. «Говори всё, как есть. По телефону опять меня будешь спрашивать про мужиков», – говорила ей. И ещё что-то говорила, и злилась. А она не слышала меня. Больше, чем обычно, была кем-то – не собой. Больше, чем обычно, я не узнавала её. И, в то же время, открывалось иное. Маленькая, согнувшаяся, совсем ребёнок. Один глаз не видит. Ноги еле

ходят. Ей страшно. И одиноко. Я ведь никогда не видела бабушку. Но злость, отчуждённость — пересиливали меня. Так мы и смотрели друг на друга, не видя.

«Почему не ешь? Почему нет аппетита? Ты чего расстроена? Что школу нынче пропустила?»

«Тебе, сынок, не надо на работу ходить, а ей-то в университет».

Начавшаяся метель мотала нас из стороны в сторону, покашли до автовокзала. Он держал меня за руку, чтобы не упала на своей скользкой подошве. Автобус до города отходил через час. Мы не знали, как проживём этот и следующий день.

ТВЕРСКАЯ ЭНД ЧЕКОВСКАЯ СТЭЙШН

— Хватит орать, — ласково обратилась Оля к выкипавшему чайнику. Она опаздывала в институт. Пыталась сохранить в этом городе свой ритм и спокойствие, но всё равно торопилась.

У входа в метро Оля столкнулась с двумя женщинами. Как это здесь часто бывает, они смотрели сквозь неё, видя перед собой лишь конечную цель, к которой направлялись за чем-то, но не человека, встретившегося на пути к ней. Они несколько секунд не могли разойтись — Олю всё ещё воспринимали как что-то прозрачное и эфемерное, или, может быть, как картинку из картона. А она намеренно застыла и наблюдала за слепыми метаниями. Оля услышала обрывки разговора:

— Я думала, это просто выражение такое — перерезало поездом...

— Нет, как есть, разрезало. Говорят, она это от одиночества.

Минув женщин, Оля всё же заторопилась, стремясь, как и они, к цели — на пару. Только лишь через несколько дней это небольшое происшествие всплыло у неё в голове, когда в Интернете она набрела на статью о женщине, бросившейся под поезд. В первый раз женщина ложилась под пассажирский, но её успели вытащить. Отвели в больницу. А потом отпустили. И она легла под товарняк.

Но об этом Оля прочитала гораздо позже. А в то утро она ехала в институт и наблюдала за людьми, спрятавшимися в телефоны. Оля чувствовала, что здесь в ней с каждым днём растёт это желание — спрятаться. Она боялась его. Но ещё больше боялась этих нависающих отовсюду конструкций, голосов. Людей, шагающих сквозь тебя.

В вагон зашли отец и сын, встали поблизости от Оли. Отец нёс рюкзак сына, на котором были изображены дети, держащиеся за руки. Оля мечтала о таком в детстве, но ещё больше — побыть с мамой, которой никогда не бывало дома. Она работала в косметической компании, где и продавали, помимо прочего, такие рюкзаки. Вчера мама звонила ей и среди обычных фраз, которые ничего не значили и были столь функциональны (а может быть и менее), как фраза «передайте, пожалуйста, за проезд», она вдруг сказала:

— Мы с тобой бродяги, Оль.

— Что? Почему?

Оля ухватилась за эти слова и впервые прислушалась к голосу матери, прорвалась через слои ваты, вставшие между ними уже очень давно.

— Бродяги. Ну я на заводе. Ты на сессию уехала. Только бабушка дома осталась. Дом пустует. Нет у нас дома.

— Как ты? — спросила Оля, на этот раз не догадываясь, что может услышать в ответ. Но отвечали то же, что и обычно.

Оля прислушалась к разговору отца и сына.

— Я за этот год впервые на метро еду. Знаешь, сколько денег сэкономил? — говорил сын. Отец одобряюще кивал.

Девушка, сидящая рядом с Олей выбирала шляпу в Интернет-магазине. В метро есть Wi-Fi и можно не смотреть людям в глаза, спокойно разглядывать шляпы.

— Мне вот эта нравится, — сказала Оля девушке и вышла из вагона.

«Тверская энд Чековская стейшн» — проговаривала она про себя всю дорогу до института, наблюдая за идущими навстречу людьми. Каждый день в институте становился для Оли сражени-

ем. Щипаешь себя за палец, бьёшь по щекам.

После занятий она поехала к однокурснице, которая боялась зажигать спички. Она всегда пользовалась зажигалкой — страшилась, что не успеет затушить спичку и загорится рука.

— Что ты, Галина Королевишна, в моём возрасте уже не уходят, — ответил Костров, как всегда неуютно чувствуя себя под тяжёлым взглядом Галки.

— Э, не прав ты, Костров. Нет такого возраста, чтоб мужик искать перестал. Ну да ладно. Пострела твоего недавно выгоняла. Посуду мне побил, демонстрацию тут устроил. Вы все, говорит, гольтьба, живёте попусту, не понимаете ничего. А до этого стишки свои со сцены читал, читал, а народ музыку просит, ну и осветали. Я его отозвала, говорю, нашёл, где культуру насаждать, сюда не затем идут. Он утих, а потом поднабрал и началось.

— И не говори! Он совсем с ума сошёл, строчит день и ночь, отсылает куда-то, а ему не отвечают. Наболело, видать, — промямлил Костров, вдруг застыдившись поведения сына.

Оля привезла с собой кусок глины. Сначала ничего не получалось. Девочка-без-спичек капризничала: «Не получается». Глина не поддавалась и трескалась, распадалась на куски, не желая приобретать форму. Оля оставила девочку и ушла на кухню. А вернулась в четыре часа тишины. Четыре часа в тишине девочка лепила из глины кита. А потом сказала, и слова её в этой тишине звучали весомо:

— Со мной никогда раньше такого не случалось. Ни одной мысли в голове, ни одной эмоции. Как будто сама глина направляет меня, через мои руки сама обретает форму.

Вечером — снова в метро. Оля стояла рядом со входом и думала о том, что сейчас она спустится туда, а когда приедет в квартиру, где разрешил ей пожить давний друг, равнодушный к маленьким девочкам, небо уже перестанет быть таким. Её тянуло в тепло, подальше от ветра и холода. Но даже самые поразительные мудилы вот уже второй день этого месяца выходили из метро, смотрели на небо и возвращались к себе. А небо, неповторимо чистое, дарило просто так, ни за что, свою любовь

и красоту. И уженемудилы думали:

«И мне, и мне дарит. Ну может не такой уж я и мудила?» И спускались в метро, потому что надо идти. И Оля спускалась, выдыхая пар на раскрасневшиеся замёрзшие пальцы. Ждала поезда. «А что будет, если я сейчас столкну эту женщину с перрона?» — думала, пока не приехал поезд. Казалось, он едет невысимо быстро. Здесь не с чем было сравнить, вместо неба — бетон.

А небо уже стало переспевшим яблоком, на мякоти которого отпечатался рисунок ярко красной кожицы, когда Оля вышла из метро на чужой станции — до своей было ещё минут сорок. Она болталась там до первых двух звёзд. Наблюдала за людьми с пакетами, проходящими мимо супермаркета.

— Пап, когда у тебя будет пять тысяч, мы вернёмся сюда, купим всё-всё, и тогда нам дадут целых двенадцать прилипал, — мальчик дёргал за руку мужчину с пакетом, из которого всё лезло наружу.

Папа улыбался.

Оля подумала, что пора бы уже спускаться в метро, и за тем ощутила и холод, и ветер, и свою дрожь. Она прибавила шаг, как вдруг увидела незамеченную до того Проходную №3. Может быть, Оля скользила взглядом по этим дверям и раньше, но не замечала нарисованного на них потёкшей краской дерева. Заметив его, она увидела и, чуть выше, вывеску — Кофейня «Дядька» — с эмблемой безликого бородатого человека, курящего трубку.

Она зашла в двери Проходной и остановилась, прислушиваясь. Из глубины раздавался барабанный бой. Эти звуки привели её в закуток, бывший кофейней — частичку бывшего электронного завода, в котором сейчас обитали музыканты, фотографы и другие -ы, мастерающие что-то своими руками. Пахло теплом. Посреди кофейни, на стенах которой висели работы мастеров, на барном стуле сидел полуседеющий, но, конечно, по-модному, парень с хвостиком на голове. С закрытыми глазами он играл на кахоне.

Они долго бродили по лесу. Оле казалось, что эта тропа когда-нибудь закончится. Солнце опустилось за холмы, и Оля узнала от него, что по этой дороге можно идти ещё тысячу километров. Листья, облетевшие с деревьев, пахли по-разному. Одни — яблоками с корицей, другие — персиками. Она нашла огромный кленовый лист, на котором вырисовывалось огненное дерево, растущее на огненной планете. Она разглядывала эту картину и думала, что любое искусство, каким прекрасным бы оно ни было, не сравнится с этим кленовым листом. Она поднесла лист к его голове и сказала — «Ты принц осени». Глаза — осеннее небо, то ясное, голубое, то пересечённое серыми бесформенными облаками. А потом они набрали на перо огромной птицы и камень, похожий на медиатор.

— Что?

Кахонист перестал играть и открыл глаза. Оля развела руками.

— Я в марафоне по йоге участвую. Сейчас время медитации, — сказал он, и Оля по инерции кивнула. После этого всё вокруг задвигалось, завертелось. Кахонист включил музыку на магнитофоне, стилизованном под радио из прошлого века, побежал за стойку, затараторил:

— Знаешь, что уже изобрели очки виртуальной реальности? Только стоят они очень дорого. Друг копит. Я ему говорю — я бы лучше на эти деньги в Индию съездил... А он отвечает — в этих очках можно побывать не только в Индии, но и вообще где угодно.

Йога, фирменный кофе с апельсинами — кахонист ронял слова на барную стойку, стойка вбирала их в себя. Оля молчала. Посреди этого шума вообще было очень тихо.

А ночью Оле приснился сон — будто бы она едет в метро с бабушкой и мамой. Бабушка держит её голову на коленях, гладит, но вскоре выходит из поезда. Оля с мамой быстро понимают, что ехали домой, а попали на какую-то неверную ветку. Никак не могут вспомнить название станции, куда нужно попасть. Выхо-

дят из поезда, и мама бежит по станции, закрывая лицо. «Что случилось?» – спрашивает Оля. «Я боюсь этой ведьмы», – отвечает мама. Оля подходит к женщине, стоящей посреди станции. У неё изуродовано лицо, но посреди него – огромные ясные зелёные глаза. «Я давно за вами слежу, – осторожно, даже смущаясь, говорит она, наклонившись к Олиному уху. – Мне кажется, вы ездите по кругу». Женщина улыбается. Оля поворачивается, чтобы сказать маме, что «ведьма» совсем не страшная, но видит её лицо за стеклом отъезжающего вагона.

Поезд с неестественной быстротой уносил Олю в кофейню. Рядом, дрыгаясь, сидели девушки в колготках. Они ехали в клуб. Смотря друг на друга, пели что-то про деток и секс, красные губы кривились. Одна из них посматривала на Олю, замечая, что та наблюдает за ней, и как будто старалась ещё больше. Оля подумала, что было бы очень глупо умереть в этом поезде с этими девушками.

Оля узнала график Санчеса – так представился бариста – и приходила почти каждый раз, когда он был на работе. Это чудо – встретить человека, с которым ты перестаёшь думать. Она рассказывала Санчесу, что про себя зовёт его Матфеем, а он смеялся. В Матфея она смотрела, как в небо. Она знала, что нужен ей здесь не Санчес, а его музыка, неуловимая и тем прекрасная. Её не нужно было поработать, как она привыкла. Не теперь – теперь ей было ясно, что цветы не обязательно срывать для того, чтобы наслаждаться их красотой.

Однажды в кофейне появилась Маша. Она бесконечно, как и Санчес, тараторила, вряд ли помня свои слова, пылью оседающие на барную стойку. Оля не могла уцепиться за взгляд Санчеса, и уголки её губ дрожали.

– Вы так пристально на нас смотрите. Что-то такое типа философское в вашем взгляде, – сказала Маша, брови с любопытством приподнялись над большими не накрашенными детскими глазами. Оля засмеялась. С этого момента что-то внутри неё расжалось. Она снова была дома.

— Из-за этой музыки мне кажется, что мы в каком-то шоу, вроде «Вечернего Урганта». Твой друг со второго расстроил меня. Спросил, что я здесь делаю. Почему не занимаюсь тем, чем хочу, — рассказывала Маша, оказавшаяся студенткой-архитектором. — А что вы пишете? Что-нибудь футуристическое?

— Ское.

Уже совсем стемнело, когда они дошли до железной дороги. По этому пути в сумерках было проще добраться до посёлка. Проехал поезд. Эта несущаяся железяка, в сущности, была сейчас вне жизни. Сколько раз она видела из окна поезда разных людей, бродящих вдоль железной дороги. Они — жили, а Оля как будто бы уже нет.

Они залезли в бетонную трубу под железной дорогой и запели. Их песня без слов, состояла из звуков, резонирующих с бетонными стенами. В круглое отверстие домика, в котором они оказались, было видно колыхавшуюся траву, отбивающуюся от наступавшей ночи. Им предстояла долгая дорога.

— Олькин? — встревоженно. Санчес смотрел на Олю. Неторопливо она заново узнавала это лицо. Да, это был Матфей. А она была Олей. А Маша пошла на второй за ключами, чтобы закрыть кофейню.

— У нас в семье всё время все болтают, не принято молчать. Никогда не бывает тишины. А с тобой я могу молчать, молча смотреть тебе в глаза. Это удивительно. Я не понимаю, что чувствую к тебе. Как будто что-то внутри никак не может определиться. То ли романтику, то ли дружбу, то ли похоть...

— Представь, если бы небо раздумывало о том, что к нам чувствовать.

В первый раз Оля осталась в кофейне до самого закрытия. Несколько часов молчаливого наблюдения и безмыслия. Они с Машей съели яблоко на брудершафт, а потом вместе подмели пол и выкинули мусор. Посчитали остатки сиропов и тетрапаков молока. Она была так наполнена этими простыми действиями

и благодарностью за них. Это место стало здесь её первым домом.

Оля вместе с Машей и Санчесом спустилась в метро. Она всё больше влюблялась в Машу — красота, увиденная ей в Матфее, освещала всё вокруг. И Машино лицо осветило, и саму Олю. Она схватила их, стоящих на эскалаторе, за руки.

— Живые! — и засмеялась.

Санчес погрозил Оле пальцем — она могла задеть недавно набитые татуировки. С этого дня Оля реже бывала в кофейне, бороться стало легче, пассажиры в метро теперь не казались ей такими игрушечными. Она пекла для Санчеса и Маши торты и помогала им убираться. Они вместе спускались в метро, а потом разбредались по разным сторонам.

На этот раз он был в кофейне один.

— Репетицию отменили и думал вчера — чем заняться? В квартире убираться? Или жену может найти? Весь день курил траву, — пританцовывая под музыку, Санчес вышел из-за стойки и сел рядом с Олей.

— Тоскливо мне. Вроде всё есть — секс, работа, деньги, музыка. Но странные мысли приходят в голову. Образы. Они не совпадают с жизнью. Так с детства было. Хотелось что-то сказать, сделать. Проживал это в голове. С каждым годом друзей становится всё меньше. Сужается круг по интересам. Ну фильмы там, игры. Напиться и прыгнуть с моста. Это не каждый сможет. Девушка бросила. Сказала, что я как ребёнок, не может почувствовать себя со мной уверенно. Переписывался недавно с девушкой. Она воздушный знак. А я вообще только с воздушными знаками встречаюсь, тянет к ним. Она целыми днями пишет мне депрессивные сообщения. Я хочу с ней встретиться, а она отвечает «хочу быть одна, хочу быть одна». И так тяжело отчего-то. От сообщений этих. Вроде всё хорошо, а вот тяжело. Ну ладно, опять я что-то набредил. Вот так сижу, говорю, а потом думаю — нафига?

В кофейню зашли люди, и Санчес перебрался за стойку.

— Будешь это пирожное? А я съем. Я гедонист в этом плане.

Оля так ничего ему не отвечала — может быть, потому что он не ждал ответа. Санчес принялся мыть кофемашину. Из неё пошёл горячий пар, попал ему в глаза и, отпрянув, он тёр их руками.

— Ого. Так и ослепнуть можно.

На небе уже появились первые звёзды, когда они спустились в посёлок. Дома сельчан отличались от дачных. Старые и трухлявые, их окна были плотно зашторены, закрыты от ночи, которая могла бы заглянуть в них.

Оля шла позади и смотрела на его спину. Казалось, ему тринадцать. Такая правильная, настоящая спина. Она знала, что эта спина пахнет свежим хлебом, испечённым детскими руками. Он весь из любви, этот хлеб.

Им в головы одновременно пришла одна идея — сварить какао. На двоих около ста рублей. В посёлках, которые близко к городу — а Фёдоровка такой и была — супермаркетов достаточно. В общем-то супермаркеты — это всё, что здесь есть, кроме домов. Продавщицы, приехавшие сюда, может быть, из Кореи, недоумевали над их видом — бабушкино пальто с розовой подкладкой; дедушкино пальто и фуражка. Всё было найдено на даче. Они ходили из супермаркета в супермаркет, пытались наскрести и на молоко, и на какао. Не получалось.

— Снова эта собака! Узнаёшь её?

К ним опять прицепилась собака со школьного стадиона. Она ждала их там каждый день, пока они были в Фёдоровке. Молчаливо провожала до дома. Не виляла хвостом. Не брала еду. Даже отворачивалась, когда они ели.

Продавщица сказала, что какао в одноразовых пакетах можно найти на другом конце посёлка, и они отправились туда вместе с собакой. По дороге им встретился житель Фёдоровки.

— Э, ребят не будет мелочи? На водку бля не хватает, — он пошатывался, но был спокоен, как и собака. Шёл по посёлку, как по дому и, казалось, присядет сейчас на дорогу, вздремнёт чуток и пойдёт дальше.

– Может нам тоже попросить кого-нибудь добавить на какао?

Но не пришлось. И их, измотанных, уже гнала домой мечта о горячем какао из пакетиков. Они шли по лесу к дому, собака брела за ними. Ночной лес был с ней совсем не страшен, да и отчего ему быть страшным, лес молчаливый и таинственный, как собака. Шуршащий в листве столетними тайнами. Не теми тайнами, что придумывают между собой люди, а теми, что придумывают людей. Собака проводила их до калитки.

– Пока, друг.

Первый раз она смотрела на них уже не отстранённо. Правда, как на друзей. Может быть, она искала дом. Но сейчас они не могли дать ей дома. Они и сами были бездомными. Не так уж и долго можно было прожить на родительской даче, где не было даже печки. Оля вспомнила, что в детстве собаки также бродили с ней по городу, вели куда-то молчаливо, или она их вела. Когда она уехала в город, собаки забыли о ней. Или она забыла.

Этот горячий какао был самым вкусным в их жизни. Ещё ни одно какао не доставалось вот так. Не было настолько из любви.

– Я завтра уезжаю. Пока не знаю, нужно ли это вообще. Но надеюсь разобраться. Я скоро вернусь, – сказала Оля.

– Хорошо, – ответил он.

– Олькин? – этот человек снова обращался к ней. Матфей.

– Завтра я уезжаю, – сказала Оля, когда они вышли из кофейни. Всю дорогу до метро молчали. Возле перехода парень играл на баяне битлов. Оле очень хотелось танцевать. Она предложила Матфею. Он чуть замедлил шаг, но потом, наоборот, ускорился, убегая без оглядки. Она на несколько секунд замедлила шаг, оборачиваясь назад, прислушиваясь к голосу баяниста. Молчали они и в метро. На эскалаторе Оля ткнулась Матфею в лицо, попала в скулу, задев его зубами, и рассмеялась.

– Теперь у меня будет синяк, – механически сказал Матфей. И продолжил молчать, молчаливо смотреть на неё.

Каждый раз они вместе проезжали несколько станций,

подолгу прощаясь, глядя друг другу в глаза. Они зашли в поезд. «Мама, сколько минут я спала?» — выхватило Олино сознание голос маленькой девочки.

«Осторожно, двери закрываются» — сообщал голос из игрушечного мира. Что-то заметалось в Оле, забило во все колокола. Не она вовсе, а эта зреющая в ней до того сила, вытолкнула её из вагона, захлопывая двери за ней. Она смотрела на Матфея сквозь стекло поезда, губы его беззвучно двигались. Он навсегда исчезал из её жизни также неожиданно, как и появился в ней, исчезал вместе с игрушечной реальностью. Никуда не исчезали его глаза, они были настоящими, и жизнь вместе с ними — как же она прекрасна. А ей пора было возвращаться домой.

«Мама, сколько лет я спала?»

ПРИРУЧЕННАЯ СОСНА

Такого солнечного света я не видела никогда, потому что каждый день в городе начинала довольно поздно — не раньше восьми. Эти рассветные лучи были красивы совсем иначе, чем закатные. Все человеческие постройки, которые я считала уродливыми, они окрасили светом, дающим им надежду. Казалось, эта уродливость — временная, и она по-своему прекрасна. Я ехала в автобусе в поселение и смотрела на лица людей. Свет падал на морщинистое лицо рано постаревшего мужчины — он пил и много работал, но его взгляд под этим светом казался прекрасным: печальным, чистым, детским. Солнечные лучи просвечивали зрачки. Всё его лицо преобразилось. Но стоило Солнцу переместиться на угол сиденья, как я уже ничего не видела, кроме морщин, собравших в кучу едущее по своим делам лицо.

Он встретил меня на повороте на Новую Бинарадку, и я снова не узнала его. То есть, ум, конечно, говорил мне, что это он. Но я смотрела в его ясные глаза, и они, ничем незамутнённые, оставались для меня тайной. Я не знала, что он может сделать в следующую секунду, он живо исследовал всё, что было вокруг нас.

«Смотри, ещё один наш друг» — он показал на существо

с длинным хоботом, прорисовывающееся из ствола дерева.

Тропа, ведущая по полю, с обеих сторон обросла соснами. Возле одной из них я остановилась и долго не могла отойти. Я взяла с собой бронзового ангела, которого хотела отдать ему прошлой зимой, когда мы познакомились. Так мы приручили эту сосну. Он надел игрушку на одну из самых высоких ветвей. Ангел отпускал голубя в сторону Солнца.

«Наверное, ещё никто не дарил соснам таким подарков», – сказал он. Но следующей сосне были отданы на хранение осенние листья с берёз.

Дом, к которому мы подошли – один из хаотично разбросанных по полю (это потом я узнала, что они устроены как-то по-особому, по солнечным кругам) – был полностью сделан руками хозяев. На входе – «наши друзья», коряги, охраняющие дом.

Эдуард и Оксана встретили нас черничным пирогом. Эдуард – в очках и с длинными седыми волосами – чаще смотрел сквозь нас. Иногда, такой взрослый, застенчиво нам улыбался, покачивая головой и стряхивая из неё тяжёлые мысли. Он строил дома из соломы и глины. Посмотрев на Оксану, я вспомнила «Воскресение» Толстого. Кто-то из критиков писал, что Толстой не понимал, кто участвует в революционном движении и революционеры описаны у него идеалистически. Оксана выглядела именно так, как Толстой описывал революционеров. Скупыми штрихами очерчу её короткую косу, морщины в уголках губ и потёртый свитер. Я долго думала – что всё же не совпадает с толстовскими образами, выбивается из них? Только потом, в сравнении, поняла – у неё не горели глаза. Уставшим взглядом она окидывала троих детей, обретающихся всё время где-то неподалёку. Они познакомились на фестивале, на празднике, устроенном такими же, как они, стремящимися к природе – здесь, в Солнечном.

Я намазала маслом испечённый им хлеб и подалась в разглагольствования. Оксана спрашивала, чем я занимаюсь. Этим вопросом задавалась я и сама, и рассказала, что вот только недавно поняла, что жила с закрытыми глазами, как ужасна

современная журналистика и город и проч., и проч. А потом остановилась и поняла, что глупо и бессмысленно звучат все эти мои громогласные воззвания в доме, построенном своими руками и в обращении к людям, которые сделали это с любовью. Посреди занесённого снегом поля — куда уходили мои слова? Оксана, достав из духовки пареную тыкву, сказала:

— Я и сама так жила. В городе работала дизайнером. Рисовала всю жизнь. Хочу что-то сделать по дому, поесть приготовить, а мама говорит: «Ты рисуй, рисуй». Ну вот так и жила ещё со школы.

Раньше Эдуард и Оксана со всеми делились впечатлениями от «новой» жизни, но скоро перестали — никак не могли подобрать верных слов, которые не делали бы их «странными». Когда Оксана в городе закаляла ребёнка, гуляя с ним без кофт и курток, она выслушала не мало угроз, предостережений и советов о том, как надо, от бабушек, матушек и любых других случайных женщин.

Вечером все поселенцы «Солнечного» собрались у Оксаны и Эдуарда. Мы остались с детьми в гостевом доме из соломы, обогреваемом одной печью. Находящимся в постоянном движении закалённым детям было не холодно, а я, свалившаяся мешком у стены, продрогла. Подслушивала их шумные разговоры. Он играл с девочкой по имени Лада — «Спорим на тиу-лиу, что ты меня не поймашь?». Конечно, он нравился Ладе. Он всем здесь нравился, потому что тоже постоянно был в движении.

«Я бы тебя обмазала всего сгущёнкой».

«И что дальше?»

«И забрала бы к себе домой навсегда».

«Ой-ой. Ты это зря, Лада».

Я наблюдала за ними, и не находила в себе желания двигаться. Только в тот момент, когда он сел рядом со мной, я заметила, что ему не хорошо. Он не пил таблеток, поэтому я даже не пыталась предлагать. Носила ему сладкий чай из комнаты, где шумно дебатировали поселенцы. И было так странно перемещаться между этими двумя комнатами: в одной — взрослые обсуж-

дения дальнейшей поселенческой жизни и нападков со стороны государственных органов на «сектантов» и их неправильную, «сектантскую» жизнь, в которой не требуются торговые центры, роддомы, аптеки, больницы, школы, университеты; с другой — комната с радостно галдящими детьми, которые ещё не знают и не видели всего этого, судьбу которых решают сейчас взрослые. И он, посреди этого всего, с побелевшим лицом.

«Дети безжалостны», — сказал он, собрав в улыбке всё тепло, оставшееся в теле.

«Они просто не понимают, им непонятна боль в голове», — ответила неуверенно.

Лада не позволяла тишине заполнить комнату. Как только создавалось её подобие, она кричала, забравшись на лестницу — «А чё все замолкли?»

«Одна девочка до самой старости всех спрашивала „чё все замолкли?“. Однажды она шла по полю и ей было страшно, потому что не у кого было спросить. Но потом девочка услышала разговоры деревьев, а когда вернулась в город, ей уже не хотелось ни у кого спрашивать», — ответила ей.

Я не знала, как успокоить детей. Хотя нет, знала. Сердце подсказывало мне, но я как будто не решалась брать ответственность за свои, хоть и очень простые, действия. Звонила бабушка, мама — я не брала трубку. Ему становилось всё хуже, он отказался от черничного пирога и больше не пил чай. Наконец, дети захотели спать. Они посылали друг друга спросить у взрослых, когда они уже поедут домой. Страшно было идти по тёмному коридору в другую комнату. А взрослые шумели и казалось, что своими решениями они могут изменить что-то, может быть даже саму природу вещей. Вдруг мы проснёмся завтра и вместо снега увидим землю?

Дети ушли, и я осталась наедине с ним. Мы сели рядом с печкой. Я гладила его по голове, неуверенная в том, нужно ли это действие. Но я вкладывала в него всё своё тепло. Здесь, в темноте, сидя перед огнём с его головой на коленях, я чувствовала себя матерью, и не просто матерью, а частью той матери,

которой была сама природа.

— У меня был очень тяжёлый период, когда мама дала понять, что больше нельзя касаться её, получать её ласку. Я тогда почувствовал очень сильное отчуждение, и не только от неё — мне были неприятны прикосновения всех людей. Я был очень обижен. В детстве мама одним своим прикосновением могла вылечить любую боль, просто погладив меня. А тут зачем-то начала водить по каким-то врачам, причинявшим мне столько боли. Помню, как они брали кровь у меня из пальцев. Крови не было, и они протыкали каждый палец, пытаюсь нацедить хоть сколько-нибудь. Мне кажется, из-за этого теперь кровь плохо приливает к моим рукам и они всё время холодные.

Я проснулась ночью оттого, что мне не хватало воздуха. Я села на матрасе, и всё моё тело прорезала боль. Задыхаясь, я обувалась, и чувствовала на себе его внимательный взгляд. Я вышла на улицу. Каждое движение отдавалось болью во мне. Я испытывала страх. Отовсюду — лес, надо мной — созвездия, мы так далеко от цивилизации, и это страшно — оказаться наедине со своей болью и тишиной. «Однажды девочка шла по полю...» Я прикинула — сколько километров до больницы?

Я зашла в дом и села перед печкой. Он гладил меня, и я чувствовала, что боль отступает.

— Какое-то наваждение, — сказал он. — Не понимаю, отчего?

— Мне кажется, больше нельзя медлить. Я сейчас чувствую, как может быть близка смерть. Пора делать всё то, чего мы боялись.

Мне захотелось позвонить бабушке, маме, рассказать им о той боли, которую мы причиняли друг другу столько времени. Где они? Что с ними? О чём они хотели сказать мне, когда звонили днём?

Утром, отведав ещё парёной тыквы, мы говорили о естестве.

— Естество — то же, что и природа по определению Ожегова. Мы хотим жить естественно, по природе. Человеку ведь так мало, на самом деле, нужно. И всё, что нужно, уже даёт природа. Я не знаю, как мне объяснить им это. То, что навязывается в горо-

дах — совсем не нужно человеку. Он просто привыкает испытывать навязанную, извращённую потребность — в покупках, в вещах, торговых центрах. В новых формах одного и того же. Кто-то радуется куску испечённого своими руками хлеба, а кто-то пятому БМВ. Радость-то одна. И не надо изощряться, меняя машины каждый месяц.

Под «ними» Оксана имела ввиду чиновников.

— Ещё кое-что произошло, — сказала она, пряча полуулыбку в спускавшуюся с плеча косу, — но за столом, наверное, не буду об этом говорить.

Мы и не особенно интересовались. Наблюдали за девочкой, которую привели соседи — Милой, стоявшей в уголке. Она молчала и не двигалась. Ясна, младшая Эдуарда и Оксаны, всё время плакала, но не на этот раз. Она смотрела на Милу с жалостью. Ясна протягивала руки к Миле, но та хныкала, била её по ладоням. К Миле подошла Даша, средняя дочь, и протянула конфету. Тимур, старший, принёс печенье. Они улыбались, и Ясна разрешила им прикоснуться к себе. Миле — 4, а мне — 20, но я всё ещё веду себя, как она.

Он предложил мне сходить за глиной в овраг. Мёрзлая глина, как халва, отрывалась кусками и рассыпалась под напором лопаты.

— Как твои руки?

— Замёрзли.

Он поднял куртку и тёплую рубашку, и я увидела его бледный плоский живот. Он одним движением снял с меня перчатки и потянул мои руки под рубашку, в тепло.

— Но... Тебе не холодно?

— Нет, мне жарко. Только руки мёрзнут.

На моих руках были его, ледяные, которые даже от жара тела нисколько не согревались.

Мы возвращались домой по обледеневшей дороге, минуя Егора и Тимофея. Мальчики пускали тарелку из отбитого временем и этой дорогой пластика. Егор упал и ударился коленом о промёрзшую землю, лицо было скривлено от боли и обиды.

Тимофей говорил с ним полуласково-полусурово. По их взглядам мы поняли, что лучше нам идти, куда шли, не задерживаясь.

Эдуард, рубивший дрова, за разговором об истории этих мест, мимоходом обронил слова о том, что Тимофей и Егор нашли утром труп мужчины.

Егор-следователь (как его стала называть Оксана) позже рассказал нам, что мужчину в летней одежде сбросили в овраг.

«Они его сначала убили, а потом привезли сюда. Шины зимние», – уверенно вещал Егор.

Не успел зимний день начаться, как уже привычно близился к завершению. Мы собрались в соломенном доме со всеми детьми, чужими и своими, с Оксаной и Эдуардом. У нас была гитара, две губных гармошки, свистулька, флейта, две балалайки. Мы умели играть на музыкальных инструментах, а Эдуард, помимо них, на печке.

Он стучал по ней, по разным её частям, и у каждой был особенный звук. А ещё мы использовали голоса, они причудливо сплетались, порождая мелодии, которых мы не ждали от них. Прислушивались к ним, как к шуму леса.

Дети подыгрывали неумело, неуклюже, но ничто не разрушало мелодии.

Мы сели смотреть Миядзаки. Дети, привыкшие к советским мультикам, сначала были недовольны. Потом наступила тишина, а позже – первые всхлипывания. Дети боялись монстров. Даша хныкала и спрашивала маму, что это такое. Егор честно признался, хоть и не хныкал: «Мне страшно». Тимофей внимательно смотрел на экран, изредка прежним взглядом окидывая Егора. Я вспомнила, что дети очень редко бывают в городе. Сельская школа, находящаяся в нескольких километрах от поселения, далека от городской жизни.

Энергии от солнечной батареи хватило ненадолго. Дети так и не узнали, что монстры в фильме Миядзаки были не такими уж и плохими существами, в отличие от полулюдей, служивших Ю-бабе.

– В городе и здесь – две разных жизни. У меня в городе

дочь взрослая. Там по-другому всё, — рассказывал Эдуард, сидя с нами за столом.

Намазала печенье маслом и подала ему. Точно такое, как в детстве. Выпускают ещё. Он улыбался застенчиво, и я за эту улыбку вновь и вновь намазывала печенье. Гораздо приятнее, чем есть самой, даже если его осталось немного. Оксана и дети улеглись спать, а Эдуард не спешил к ним, щурясь от тёплого света керосиновой лампы. Он хотел, чтобы Оксана иногда играла вместе с ним — может быть, на печке, а, может, на чём-то другом, на толику вырываясь из непрерывного течения жизни.

«Попробуем угадать сколько сейчас времени? Давай поспорим на десять тиу-лиу». Мы занимались любовью всё утро, на деревянном полу комнаты с давно потухшей печью нам было не холодно. Оксана несколько раз уже заходила в комнату за своими вещами, бормоча «Простите, простите, простите». Мне было ужасно стыдно перед Солнцем, которое заглядывало к нам в окно и призывало к немедленным действиям.

— Я угадала, двенадцать! Я выиграла, выиграла! Всё, — я села на него, придавив руки к полу и неосознанно имитируя интонацию Лады.

— Дашь мне хотя бы три тиу лиу из десяти?

— Хорошо.

Поедая парёную тыкву, я старалась не пялиться на Оксану и Эдуарда. Она целовала его, а потом ещё несколько мгновений была в точности героиней Льва Толстого. Пока к ней не подошли дети.

Эдуард предложил довезти нас до села, но я предпочла идти по морозу, сколько бы то ни было.

— Вернусь в город — наезжусь.

— А, ну да. Там от дома до работы и обратно.

Я узнала, что он поедет домой автостопом, когда уже смеркалось. Мы зашли в кафе, и я потратила деньги на блинчики с чаем, чтобы согреться. Он ничего не говорил, проводил меня до остановки. Только тогда я узнала, что у него нет денег. Специаль-

но потратил всё, что получил загончарку, на гостинцы Эдуарду и Оксане.

— Сейчас если получится застопить машину, поедем вместе до Ульяновска.

— А потом опять возвращаться?

— А потом...

Первым подъехал автобус.

— Когда ты приедешь?

— Не знаю, не знаю, не знаю...

— Подожди!

Сунула ему в руки отыскавшиеся в кармане джинсов пятьдесят рублей. Водитель смотрел на нас спокойным и внимательным взглядом, о который разбивалась вся моя суетливость и чувство вины за факт своего существования и задерживания этой большой, едущей по делам машины.

— Простите. Сколько проезд?

— Да вы сядьте, руки погрейте. Потом.

«В Китае впервые зафиксирован случай нападения робота на человека. Инцидент произошел на технологической выставке China Hi-Tech Fair в китайском городе Шеньжэнь. Робот временно оказался без присмотра на стенде компании-разработчика. Внезапно он по неизвестной причине принялся крушить стенд и успел нанести ранения одному из сотрудников, попытавшемуся его остановить. Робот наехал мужчине на ногу, после чего тому понадобилась госпитализация. Стоит отметить, что Little Chubby позиционируется производителем как учебный робот для детей от четырех до двенадцати лет. Его стоимость составляет около 1400 долларов США...

Подростка спасли от суицида на железнодорожных путях. Он пытался покончить с собой в день рождения, о чём регулярно писал в соц. сетях, отсчитывая дни. Позже четырнадцатилетний парень признался, что на него повлияли сообщения о ранее покончивших с собой подростках.

Дональд Трамп провёл торжественную церемонию...» — без переходов вещала ведущая радио, включенного в автобусе.

За окнами пронеслись силуэты деревьев, на которых постепенно надвигался сумрак.

ДИМКА

Если к найденной на берегу Волги палке привязать нитку-мулине — рыба не клюнет. Но когда мне было пять, я об этом не догадывалась, и доверчиво закидывала мулине в воду, ожидая улова. Тогда я и встретила Димку. Димка, как оказалось, жил со мной на одной улице, а кроме неё для меня ничто больше не существовало. Я не знала, что пока бегаю по берегу в майке с Микки Маусом, в администрации ожесточённо спорят, как обозвать территорию нашего проживания — рабочим посёлком или городом. Димка привязал к нитке-мулине мёртвую рыбу, плывшую кверху пузом у самого берега, и уверенно сказал, что если не родителей, то собаку мы точно накормим. Конечно, травить пса нам никто не дал, но у меня теперь было с кем ходить на рыбалку.

Димка вызывающе смотрел на меня, а я — на грязь его щек. Веснушки на носу тоже были в грязи, и это пугало. Боевой раскрас уличной шпаны. Мы не часто дрались, но иногда он ухмылялся так нагло, что было понятно — вызов брошен. А потом, угловид мне веткой в глаз, хохотал, зная, что я сейчас побегу жаловаться мамочке. Я, конечно, бежала, и «мамочка» грозила пальцем невидимому Димке, которого я вела к себе домой на следующий же день.

Димка любил сидеть со мной у «галанки» и смотреть мультики. Мы были едины этим теплом, пробирающимся сквозь спины в самое нутро — я, Димка и бабуля. Мать часто уезжала на заработки, или за «сникерсами» и «марсами», как я, наверное, думала, и мы с бабулей дневали и ночевали одни. Мне хотелось потянуть бабулю за подол и сказать — «ну пусть он останется». Но я знала, что этого не будет, и тепло уйдёт вместе с Димкой.

Однажды он притащил ко мне домой сломанный баян и, скрывая смущение за приподнятым уголком губ, изображал, что

играет на нём. Он очень хотел научиться, но учить грязного пацанёнка в оборванной одежде было некому. Баян нелепо раскрывал пасть и жалобно стонал. Нам стало стыдно, и он унёс его обратно в отцовский сарай, почти что не примяв траву ростом с одного маленького веснушчатого мальчика, которой уже давно покрылись все тропы в их дворе.

Иногда Димка стучал в болезное, облупленное лицо нашей калитки с торчащим гнилым зубом, называемым дверной ручкой, чтобы попросить у бабули корочку хлеба. Я вместе с ним вгрызалась в ржаную мякоть, и мы бежали в парк, где был зарыт по бусинкам мой браслет и резиновый слон, которого нам дали на похоронах Тани, утонувшей прошлогодней зимой. «Переходила на другую сторону Волги с пьяной матерью», — так сказала бабуля. После похорон мы пошли на стройку к «богачам» и сидели там на кирпичном фундаменте, придавленные нелепостью отданного нам слона. Димка нажимал слону на живот, и он кощунственно пищал. Мы не заметили, как перед нами появилась девчонка в беленьких гетрах — дочь хозяев. Димка спрыгнул и побежал, я спрыгнула и ударилась о бетон коленом. Он вернулся, и, скрепив наши руки, неизбежно захваченные весенними цыпками, повёл меня в парк. Тогда и закопали глупого слона.

Это было до вытащенной из батиной заначки водки, до покрасневших, неузнанных мною глаз, и клея в целлофановом пакете, который Димка нюхал за поленницей, скрываясь от бабули. И до того, как его забрали в Интернат.

Если представить, что люди, умерев, духами кружатся над нами незримо, оплакивая не себя, но нас, то Димка, наверное, их видел. И долго ещё его преследовал дух убитого пса — Цыгана, черного, что наша галанка; по-цыгански лохматого и облупленного со всех сторон репьями. Димка садился на него, как на лошадь, а тот — ни звука, только потряхивал с укором огромными ушами. Цыган пострадал за свой тоскливый вой. Димка кинул в него кирпичом, хлебнув батиной водки.

Дух его мамы с раздутым лицом, которой пьяный любовник

откусил губу. А губы у неё были сиреневые, и кожа под глазами сиреневая, и платье с сиреневыми цветами – единственное, висящее на ней ветошью, не выдающее обвисшей груди. Она, пьяная, билась всем телом в нашу калитку, когда слышала, как я капризно реву, в который раз поругавшись с приехавшей матерью. Ничего не было, а хотелось всего. А она, наверное, думала, что меня страшно обижают.

Дух повесившегося папы, раз в год таранившего свой же забор на стареньком КАМАЗе. Наверное, он не верил, что это его забор. Уж слишком часто отец – дед Бабай – живущий во второй половине дома, напоминал ему – «Валерка, алкаш несчастный». «Да чтоб ты сдох!» – кричал Валерка. Но старик пережил его.

Забрали Димку – и мать ушла к любовнику-людоеду. Забрали – и отец поджёг дом. Все соседи тогда столпились с иконами на обочине – не первый пожар на улице, и не дай Бог перекинется, – и казалось, что огонь пожирает что-то внутри них, отражаясь на лицах. Вымолили дядю Валеру. Но он их об этом не просил. Поэтому через пару недель его нашли в петле.

Димка бежал из городского Интерната. Люди говаривали – как о каторжнике – «бежал ночью, через горы». Он пришёл на пепелище своего дома, и я почувствовала. Не могла не почувствовать человека, который хохотал, ткнув мне веткой в глаз. Подбежала к окну, и внутри всё сжалось до кусачего зверёныша.

«Димка!»

А бабушка не пускала, берегла свою маленькую холёную девочку. У неё в комодке спрятался ножичек, отнятый у Димки. Так мы его больше и не увидели, несмотря на обещание вернуть.

Я выбежала, уже зная, что этот Димка – чужой. Он вызывающе смотрел на меня, а я – на грязь его щек. Он хохотал, и в этом хохоте я никак не могла узнать его, этот хохот меня страшил. На следующий день его снова забрали.

Через несколько лет мальчишки из Интерната приходили ко мне, стучали в железные ворота.

«Где Ленка?»

И потом ещё несколько раз, пока не устали стучать.
«Нет её дома» – говорила им бабушка.

САНЯ

Весь день с небольшими перерывами на белую, звенящую тишину, валил снег. Он убирал его в эти перерывы, бегая с лопатой от собачьих будок до огромных железных ворот. Собаки жалобно глядели на него, изредка повиливая хвостами – ему то можно было зайти на базу и отогреться, а они ютились в маленьких перекошенных будках. Впрочем, на базе едва ли было теплее, чем в конуре – бетонное здание, в котором жили сторожи, почти не отапливалось. Его сменщик, пенсионер дядя Миша часто по этому поводу шутил, что сторожат они, на самом деле, холод. Он несколько раз выходил из здания и спрашивал: «Сань, водку будешь?». Но Саня не хотел водку, он мотал головой из стороны в сторону и даже не говорил с ним, чтобы сбереечь тепло, и дядя Миша махал рукой. Вдоволь наигравшись с собаками, Саня заходил в здание и пил чай, а потом выбегал на улицу и опять – от собачьих будок к железным воротам.

Но ничто не могло отвлечь его от тревоги, не дающей ни минуты покоя. Тревожиться вроде бы было не о чем. Просто она не приходила.

Уже стемнело, осколки от разбитого ангелом-неумехой небесного хрусталя перестали лететь на землю и, возмущенно переливаясь разными цветами под кажущимся уютным светом окон базы, вконец заполнили тишину, вопия о таком бесчинстве – а она всё не приходила. У Сани кружилась голова от мороза и голода. Он быстро побежал в здание, будто всё это время его что-то удерживало. Собаки решили, что сторож снова захотел с поиграть и рванули за ним, но дверь захлопнулась перед их мокрыми носами.

Чугунная сковорода, найденная Саней еще несколько месяцев назад в шкафу с прилипшим к ней мёртвым ссохшимся пауком, была лучшей сковородой на свете. Саня, как обычно, пожа-

рил картошку, но так к ней почти и не притронулся.

Взбежав по лестнице на второй этаж, он закутался в одеяло и сел за свой полуразбитый нетбук. Хотелось дописать повесть, и больше ничего не хотелось. Кто-то сказал вчера, что склад скоро закроют. Но разве это было важно? Да и стоило ли что-то дописывать? Что вообще, на самом деле, было важно в этой звенящей тишине?

Собаки подняли грозный лай. Самые маленькие всегда лают особенно устрашающе — так говорят. Этим и руководствовались, наверное, владельцы склада.

Она пришла.

Саня медленно поднялся, растягивая огненную пружину от низа живота до горла и позволил себе: «А может и не приходила бы лучше. Продолжил бы писать, хоть ещё один абзац». Но пружина слишком быстро лопнула, разлетелась на части, и он опрометью спустился с лестницы, на несколько секунд став тем псом, ожидавшим новых игр.

Собаки привыкли к ней, только старый Михалыч видел её здесь первый раз. Саня старался приводить её, когда у второго сторожа был выходной. Но не сегодня — через пару дней она должна была уехать куда-то — куда, он не помнил. Он многое забывал, когда она касалась его.

— Чё молодая какая? — хмыкнул Михалыч, посмотрев в окошко. Сане захотелось ударить его. Саня не понимал, что он чувствует — что-то с железным привкусом — то ли стыд, то ли отвращение. Может быть, всё вперемешку.

Саня нажал на кнопку, махнув перед лицом Михалыча давно нестиранной растянутой рубашкой, и ворота открылись. Собаки завилили хвостами.

От неё пахло морозом и чистотой, а от Сани — теплом и нестиранной рубашкой. Они мельком взглянули друг на друга, как тайные агенты, не подающие вида под пристальным взглядом Михалыча, молча поднялись по лестнице и зашли в комнату.

Она села на лежащий на полу матрас и растеклась по нему, как растаявший на чёрном пальто снег. Их взгляды встретились,

и она, неумело стянув пальто, отодвинулась к грязно-белой стенке, зловеще освещенной маловольтной лампочкой.

– Хочешь есть?

Саня капал на руку воском от зажженной свечи, пока она доедала остатки картошки, отнятой у подмигивающего Михалыча.

– Меня скоро с работы уволят, – пробормотал Саня, пристроившись на краешке матраца. Она не отвечала.

– Михалыч обещал найти место. Может, будем вместе жить? Квартиру снимем, – он нервно водил рукой над свечой – обжигаясь и отдёргивая её, разглядывая следы от копоти.

– Выключи свет, – попросила она у сковороды, царапая вилкой эмаль.

Он встал с матраца и, кинув ей вязаный свитер, лежавший на стуле, нажал на кнопку выключателя.

Тишина разбилась о несуразный грохочущий сумбур, и они одновременно вздрогнули. Снизу раздались восхищённые причитания Михалыча. Саня выглянул в окно – по крыше с настойчивостью пьяного гостя стучал град вперемешку с дождём.

– Это ты нашаманил, да? Только у тебя зимой может начаться дождь, – она подняла голову и, взглянув на него, улыбнулась. Саня покачал головой, подтверждая, пружина вытолкнула на его лицо ответную улыбку, скрутив желудок.

Она натянула свитер и поежилась. Град свирепствовал. Михалыч внизу выкрикивал что-то матное и языческое. Саня пристально наблюдал за ней, а она – за бликами от свечи. Он взял со стола разваливающийся неутбук и включил музыку. Руки почти перестали подрагивать.

– Что ты делаешь? – она вскочила и посмотрела на него, как на безумного. Саня засмеялся.

– Залезай обратно.

Он почти что накрыл свечу, стоящую перед ней, одеялом. Он был титаном, на котором держался их маленький дом.

Переборов все пришедшие на ум предостережения, она залезла под одеяло и пододвинулась к нему, протянув руки

к свече.

– Я хочу домой.

– Я тоже хочу домой. Мне не нравится этот город.

Саня непонимающе посмотрел на нее.

– Мне кажется, дождь сейчас пробьёт крышу, но до нас не доберётся, мы надёжно спрятаны. Представь – это наш магический дом, он повязан волшебством, – прошептал Саня.

Она провела рукой по его сидящим волосам.

– А Михалыч – злой колдун, это он такой дождь придумал, а не я.

Её рука оказалась у Сани на животе, в котором что-то окончательно оборвалось, а губы приоткрылись, просвечивая красным в бликах свечи.

Он отодвинул её руку, а потом, в ответ на непонимающий взгляд, вновь притянул её, провёл по ней губами.

– Подожди, – неуверенно протянул Саня.

Но она не хотела ждать.

Динамики старенького нетбука разрывала увертюра Чайковского. Падение – взлёт, падение – взлёт, падение – взлёт, падение

НА ОБРЫВЕ

Название этой философской конференции не помнил никто, даже организаторы задумывались перед тем, как произнести его.

Парень в костюме, выглядящий как окультурившийся хипстер – с неизменной бородой, и девушка в мужской рубашке. Они сразу выцепили друг друга взглядами. Но подошли друг к другу только через два года, на следующей философской конференции, название которой путали с названием прошлой.

За университетом, оголевший от оползней, дремал обрыв. Новый знакомый сказал, что за пять лет ни разу не спускался к нему, хоть и видел постоянно в окно.

«Я не думал, что до этой красоты можно ещё и дойти».

Она показала, что можно. Бывала здесь не только из-за фило-

софских конференций.

Она не думала, что преподаватели философии могут выглядеть так молодо. Он сказал, что в будущем, может быть, как о философе современности на экзаменах будут говорить о каком-нибудь Гребенщикове, и засмеялся. Пока они сидели, он назвал ещё много фамилий, которых она не знала, перескакивая от одной эпохе к другой. Она надеялась, что он понимает, о чём говорит.

Нужно было что-то сделать, чтобы развеять всё это в одно мгновение. Не дать потоку слов обесцениться. Она села за его спиной и коснулась плеч. Люди по-разному реагируют на такие вещи, но она надеялась, что он говорил всё это не просто так.

Он замолчал. Одно коротко вырвавшееся «Зачем?» не считалось. Она гладила его по спине, пока тело не расслабилось, пока не перестало вести невидимый бой: защищаться, кокетничать; пытаться ухватиться за что-то, вместо того, чтобы открыться и спокойно идти по кромке.

Она пообещала, что в следующий раз можно будет побороться, здесь же. На кончиках пальцев светилась простота. Больше не нужно было говорить чужими словами.

Они встретились через месяц. Не на обрыве. Он повёз её на мотоцикле в лес. Неподальёку от него находился детский лагерь, звуки которого они слышали ещё издалека.

Экипировка из кожи, в которой обычно разъезжают байкеры, стягивала его тело и, казалось, не давала дышать. Дорога в лесу оказалась не слишком гостеприимна — на пригорке мотоцикл забуксовал, и они упали с него. В палатке он хотел смазать ей зажатую мотоциклом ногу, но в аптечке не нашлось ничего подходящего.

«Это ещё ничего, я с мотоцикла хуже падал. С большой скорости. Распорол себе однажды бок. Но в такие моменты испытываешь какой-то не настоящий, искусственный страх. Было совсем по-другому, когда я лазил в пещеру и застрял там, попытавшись пробраться в галерею. Выдохнул, пролез туда, а обратно вылезти не мог. И вдохнуть тоже. Вот тогда был правильный страх», —

рассказывал он ей, пытаясь закрыть палатку со сломанным замком и отбиваясь от комаров спреем. Замок расходился, но он с упорством складывал миллиметровые зубчики.

В палатке было душно, но, кажется, он не собирался никуда идти. Снаружи доносился звук падающих с сосен шишек, который она постоянно путала с яблоками, забывая, где находится.

«Пошли поборемся», — предложила она. Нога уже не болела, и не подходила в качестве отговорки, чтобы не выходить к комарам.

Она предложила ему упражнение, которое показал ей когда-то мастер боевых искусств. Интервью с ним было одним из самых интересных. Энергетически оно походило на армрестлинг — в нём сложно было быстро победить друг друга. Можно было идти по краю. Но оно показалось ему слишком простым.

«Вот, смотри. Так можно сломать руки или ногу. Ну, то есть заломить. Я сказал „сломать“? И обязательно бей в челюсть, в другие части тела не имеет смысла. Ну, если никто не видит, то можно в затылок или в глаза», — начал он показывать ей приёмы. Он выворачивал её руки, показывая, как надо.

Несколько лет занятий боксом и боём без правил. Но с собой он носил газовый пистолет. «Если драться начнёшь, можно ведь и сломать что-то. Можно и убить. С газовым пистолетом проще», — объяснял он ей.

Они пошли в палатку, чтобы выпить воды. Ничьих фамилий больше не звучало. Он предложил сделать ей массаж — «как тогда, на обрыве». Она согласилась, и руки легко коснулись спины.

«Вот я тебе про штольню рассказывал, про правильный страх. Тогда в голове за секунду пронеслось столько мыслей. Я понял, что меня отсюда просто не вытащат. Продумал все комбинации. Мозг работает оптимально в экстремальных ситуациях. Но я не верю, что в остальное время мы используем его всего на десять процентов. Да полностью используем. Ты что об этом думаешь?»

«Мне кажется, дело не в использовании. Знаешь, как у шама-

нов? Ну, я слышала, что они отключают полностью себя и соединяются с чем-то единым, общим. Это же полное доверие миру. Ты ничего не используешь, наоборот — поступаешься своими желаниями. Мне кажется, тогда и приходит то, что вне этих „десяти процентов“. Ну, знаешь. Играешь иногда на гитаре, поёшь песню, которую слышал всего пару раз. Попроси тебя рассказать текст, и ты ни за что не расскажешь. Но поёшь, сливаешься с музыкой, и слова приходят в голову сами собой. В тот момент, когда ты уже зажал следующий аккорд. Мне однажды приснился сон, в котором я могла передвигать предметы. Так вот, в нём нужно было полностью потерять себя. Не быть собой, как это в песнях поют, а потерять. То есть забыть все свои желания и слиться с идеей предмета, понять его. Только тогда сможешь его передвинуть. Ты ведь в этот момент абсолютно отстранен, бескорыстен. Может и двигать его уже станет не нужно. Понимаешь?»

«А что ты имеешь ввиду под „потерять себя“? Как вообще понимаешь „я“? „Сознание“?»

Руки застыли, и она предложила поменять роли. Вновь коснулась его спины.

Он ещё долго говорил, бросая терминами. Его спина и руки напряжённо подрагивали. А потом что-то пошло не так. Он повернулся к ней, коснулся губ.

На неё просяще смотрели детские глаза, как когда-то на качелях в парке, давно и далеко отсюда.

Он целовал, а потом, дрожа, спускал её руку вниз. Несколько раз она отрывалась от него и долго смотрела, пытаясь разглядеть что-то за этим обессиленным взглядом, веснушками и пухлыми губами, но он прикрывал глаза и продолжал тянуть её вниз. Иногда спрашивая: «Всё нормально?» «Я правильно тебя понял?».

Она знала, что нельзя смеяться, и улыбаться нельзя, потому что этот мальчик озлобится и не простит ей. В лагере, рядом с которым они находились, началась дискотека. Детям вручали грамоты, коверкая фамилии и неуклюже пытаясь исправить. Радостные крики детей иногда заглушали музыку. Она тоже в детстве была в этом лагере, но из него пришлось уехать, потому

что стерпеть вожатую с хриплым прокуренным голосом было тяжело.

Они второпях собрали вещи, потому что «время прошло слишком быстро». Потому что завтра «работа дела».

«Ты знаешь, что в мире животных прямой взгляд в глаза означает либо желание убить, либо призыв к соитию?»

Солнце медленно погружалось за горизонт, будто тянул его кто-то вниз, это несмысленное огненное солнце. Она думала, что для двоих больше нет места на том обрыве.

ДУХИ ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

Чтобы попасть в Никольское, нужно всё время идти прямо — это все знают. Немудреное это знание доступно даже ментам, которые были встречены по дороге в село. Их машина остановилась рядом со мной, сидящей на траве, окатив придорожной пылью, и это было закономерно. Весь проделанный путь я слишком громко размышляла о том, зачем взяла с собой траву и какой от неё прок там, куда направляюсь.

— Что-то многовато туристов, — менты вышли из машины и подошли ко мне, с подозрением глядя на спальник и пенку. Тот, что в штатском, был русский и главный, и вид имел грозный. Парень в форме, стоящий рядом с ним, по-восточному улыбался и, кажется, всё про меня знал, уже готовился сдать.

— А я вот здесь всю жизнь хожу и вас ещё не встречала, — ответила первое, что пришло в голову.

Далее следовал светский разговор, в ходе которого я выяснила, что менты просто беспокоятся за меня.

— Выражаясь твоим языком, на берегу поселился очень странный «чувак». Бородатый, пьёт воду из Волги, ходит голышом.

— Ну, бывает, — пробормотала, желая поскорее отойти от дряхлого УАЗика, который как старый немощный слепень прицепился ко мне.

— Ты смотри. Если что с тобой случится — я себе не прощу, —

кинул мне вслед главный, залезая в машину. Я готова была поклониться ему за то, что он, наконец, уезжает, радостно улыбалась и, кажется, тем самым щекотала пузико всеобщего ментовского самолюбия. Интересно, почему они не были такими резвыми и готовыми на подвиги, когда весна дала мне по голове кулаком жирного алкаша в футболке с Путиным, коротающего вечер возле нашего многоквартирного загона.

«У меня есть для вас хорошая новость!» — почему-то захотелось крикнуть им вслед с сектантскими интонациями. Но ничего хорошего для ментов я так и не придумала.

Никольское было обыкновенным для дня сегодняшнего заброшенным селом, попасть в которое пешком оказывалось реально лишь летом. В остальное время дорогу заносило, и эти десять километров от ближайшего гражданского пункта можно было преодолеть, разве что, на экскаваторе. Потому в Никольском был только один постоянный житель. Остальные уезжали-приезжали на несколько дней, за которые пытались взять от жизни всё. Помню, одна из таких дам, пьяненькая и разнуданная, отвечала нам с друзьями, когда ночью, в самый ужасный за всю мою жизнь ливень, рвались к ней домой: «Пастух, убери своих овец!». Впрочем, в домах здесь недостатка не было. Если бы не боялись местных духов, можно было бы залезть в любую заброшку. Например, в жилище недавно уехавшего в Германию обрусевшего немца, который не продавал свой дом, потому что «Я хочу иметь жильё в России». Много здесь таких было, оставивших себе угол на случай отступления.

Уродливый памятник Ленину, давно облупившийся и никому не нужный, соседствовал с аллеей, которая напоминала мне Бунина. Аллея была разъезжена — через неё на берег Никольского приезжали рыбаки-нелегалы и «чёрнокопатели», которые то и дело находили горшки с монетами петровских времён.

Путь до Никольского неблизкий, особенно тяжёла дорога мимо «Фёдора-козла» — местного пса, давно потерявшего мужское достоинство и каждый раз истерично кусающего меня за ноги — и спуск к реке, так что вымоталась я порядочно. Тогда

показалось идеальным решением уснуть на берегу, но пробуждение в странных обстоятельствах выбило меня из колеи.

— Ходить, говорят, голым нельзя. А я недавно видел девочку пяти лет, которая считает, что нет ничего извращённого и пошлее, чем ходить в одежде, — надо мной нависал бородатый парень-платан. Сходство его с этим деревом заключалось не только в абсолютной наготе. Худые руки его, перевитые венами, походили на ветви, а волосы на голове уже начали напоминать птичье гнездо.

Я поднялась с земли и ощутила, что меня несколько не смущает его нагота. Не вызывал он и никаких других эмоций. Открытость и прямота его взгляда не оставляла шансов лукавству. Потому я пошла за ним, отмахиваясь от предупреждений ментов.

Он долго и испытующе смотрел на меня, пока на костре что-то варилось. Всё началось с этого взгляда. Я посмотрела ему в глаза, повторяя про себя одну и ту же мысль. Он пододвинулся к костру, как я и просила. Услышала в голове — «А теперь — ты».

Он покормил меня, но есть нужно было очень осторожно, прислушиваясь к ощущениям. Я перестала есть, когда моё внимание захватила река. Она ласкала берег, а я не успевала следить за волнами. Новыми, ни капли не похожими друг на друга движениями, они касались берега, нашёптывали всё новые истории, и я почувствовала, как исчезаю, утекаю сквозь эту воду.

— Я не пью воду из Волги, они это придумали. Здесь есть родник, — услышала над собой голос. Слова запрыгали по воздуху, окружили меня и ещё долго звучали в ушах. Два вопроса мучили меня более всего — где я и кто такая, но задать их не представлялось возможности, потому что пока было непонятно, получится ли у меня открыть рот.

Лесной дух, так про себя его окрестила, что-то заметил во мне, и повёл вдоль берега. Пока мы бродили по камням и рассматривали их лица, я осознала — ничего нет, и тысячу лет назад также ничего не было. Об этом рассказывала река.

— Где я? — мне удалось открыть рот — так сначала показалось, а потом я забыла, был ли вопрос высказан вслух. Слова

повисли в воздухе, я тактильно ощущала их, но так нагло заполнить пространство могли и мысли — это было ясно.

— В Никольском, — ответил лесной дух и улыбнулся. Стало спокойно и просто.

В следующее мгновение я очнулась на горе. То есть мысленный процесс запустился вновь только там. Вспоминала, как поднималась на гору — я вцеплялась в насыпь руками и ногами, как дикий зверь и ни о чём не думала — впереди меня, указывая путь, полз дикий лесной дух. Он радовался и мне тоже было радостно, что могу так легко взбираться наверх и наконец-то чувствую каждую клетку своего тела. Я посмотрела на руки — на них не было ни грязи, ни царапин. Мне становилось всё страшнее, потому что я не понимала, где я.

— В Никольском, — повторил лесной дух и засмеялся. Я не помнила, произносила ли вслух вопрос.

На этот раз всё так просто не обошлось. Мы шли по полям со светящейся пшеницей, шли по воздуху, но как бы не было прекрасно всё, что окружало нас, меня не оставляли прежние мысли.

Лесной дух повторял одну и ту же фразу, пока не остановился и не передал мне мысленно:

— Прошу тебя, доверься мне. Поверь ему.

Я надолго замолчала, пытаюсь исполнить непосильное. Молча разглядывала всё вокруг. Каждую травинку, гладившую меня по лицу. Каждое дерево, трепетавшее в приветствии. Мы поднялись наверх, и вдруг я воскликнула, сама того не сознавая: «Красота!». Слово повисло в воздухе между мной и лесным духом. Я открыла для себя красоту и открыла новое слово и теперь бесконечно повторяла его, радуясь.

Я не заметила, как стемнело, наблюдая за муравьями и божьими коровками. Лесной дух разводил костёр и улыбался.

— Я так богат. У меня есть эти камни, река, эти деревья и воздух, — сказал он.

Я посмотрела ему в лицо и вновь, раньше, чем подумала, вырвалось — «Красота!». Повисло в воздухе. «Ты — красота. В глазах смотрящего», — ласково посмеивался лесной дух. И я

почувствовала, что так оно и есть. Я в ней, больше не отделена.

Блики от костра играли на его лице, и оно вдруг напомнило мне лики на иконах. Но стоило немного передвинуться — и я уже видела перед собой сатира.

— Так интересно — мы смотрим друг на друга, а видим то, что у нас внутри, — сказал лесной дух. Я заснула. Очнулась от полыхающего на горизонте жара, пробуждающего для новой встречи с красотой. На меня был накинут спальник, поверх которого лежала береста. Ласково взяв её в руки, увидела нацарапанное послание:

«Встретимся в Никольском следующим летом. Расти и готовься — пора строить свой дом».

ПЧЕЛИНАЯ ПЕСНЬ

Она приехала в деревню, когда там шёл первый за весь июль настоящий дождь. Бабушка встретила прежним — «иди ешь щи, остынут же!» Именно в этот момент она впервые за последнее несколько лет осознала, на чём здесь всё держится — есть надо в это время, пить в это, а потом посуду мыть, а потом ещё и огород... «Дел полно!» Глядишь — и день прошёл. В трепетном отношении к столь простым вещам было что-то сакральное и прекрасное. Но в то же время пугало такое топорное понимание того, зачем всё это нужно. Засеянные в нутро смыслы просыпались лишь вечером, под иконами.

Она трепетала и не просила ни щей, ни какой-либо другой еды. То, что происходило внутри, насыщало. Хотелось просто смотреть, хотелось исчезнуть, раствориться в красках за окном, которые круглый год здесь напоминали жителям о том, кто они такие.

Она сказала, воплотись эта деревня в человеке — была бы им. Он закончил все дела, долепил чашки для Пуэр-бара, за которые с ним расплатились чаем. Должен был приехать через 3 часа. 40 километров на велосипеде. Она то и дело откладывала книгу, упирая взгляд в окно, пока он не позвонил.

Как только он въехал в город, дождь закончился, и на всё вокруг опустилась туманная дымка. Дождя не было и во все другие дни его пребывания здесь, нарушая тем самым заверения синоптиков. Казалось, до его приезда небо опустошило себя, очистилось.

Только лишь при виде его очертаний где-то вдалеке, всё внутри неё наполнялось теплом. Она превращалась в гончарную печь, температура в которой стремительно нарастала. Но, в то же время, не будь его, растворись он в этом чистом воздухе, в этой траве, и всё осталось бы столь же прекрасным. Погляди она все-му этому в глаза – и сердце затрепетало бы так же, как и при его виде.

«Душица» – он отхлёбывал чай и ресницы подрагивали от удовольствия. Вкус скатывающегося по его горлу терпкого чая она ощущала у себя во рту, дрожала от замершей в этом мгновении всепоглощающей красоты. И краснела. Вокруг было столько людей, наблюдавших за ними – бабушка, её шумные гости, занимавшие себя разговорами... Ей было стыдно за это счастье перед всеми, кроме четырёхлетней девочки, бегавшей по залу, и в любой удобный момент смотрящей ей в глаза и хохочущей. Она встретила их на пороге без одежды. «Оденься! Ты видишь – дядя пришёл! Так нельзя, нельзя ходить голой!» – сообщили ей. Но девочка не понимала, почему она должна одеваться и кто так придумал, и долго плакала в комнате, пока не смирилась со своими розовыми шортиками и не вышла к гостям, чтобы вновь смеяться.

Они отправились в лес. Он лег спать в траву на поляне, а она долго бродила меж деревьев. Пока не почувствовала себя так, будто стоит на шумной улице. Пока не застыла, уподобившись лесу. А лес безмолвствовал, только деревья и насекомые нарушали тишину. Этот невыносимый, инородный шум принесла сюда она. Шум был мыслями, которые кружились над ней, как мухи над псом, лежащим возле киоска и изнывающим от жары.

Она сомневалась. То, что было принято сердцем, подвергалось сомнениям разумом. Нужна ли была эта встреча? Да и что

вообще было нужно, а что нет? Их обоих ждал город и какие-то люди, заказы. Ему — на гончарку, ей — на статьи.

Но всё это — как мусор, оставленный школьниками на опушке леса.

Они прожили в лесу три дня. Три дня жизни, в которой нет законов кроме тех, что даны природой. Три дня растущей уверенности, что ты можешь всё.

В последний вечер они привычно спустились к берегу. Туман стоял над водой и делал Волгу бескрайним, бесконечным морем. Волны покусывали берег, набегали на него, как их мысли, продолжавшие, хоть и слабо, будоражить ум.

Они развели костер и долго смотрели в огонь, не замечая его жара. Над язычками, лижущими боящийся пошевелиться, изнеженный воздух, пролетела пчела. Это стало судьбоносным для насекомого событием, вмещающимся в несколько человеческих слов — обожгла крылья и упала в золу. Она, не думая, потянула пчелу из костра сухой травинкой. Но разве нужна была пчеле помощь? Насекомое вернулось к огню, чтобы сгореть в нём. Огонь перевернул пчелу на спину, ласково сложил её лапки.

Разум сопротивлялся как мог, боролся до последнего. Хватался за потаённые страхи, за внушенные кем-то мысли. Море низводило их своим величием, оно шептало — нет тебя, тебя нет, нет тебя отдельно от нас.

Она много раз представляла, что он растворился, не выйдет больше из леса. Что останется сидеть на поляне в одиночестве. Это было так естественно. Одним из утр, в которое она проснулась, он действительно исчез — его не было в палатке, велосипеда не стояло рядом. Она поняла, что напоминали его глаза и губы — камни, лежащие под водой, и обретающие так необыкновенные цвета. Можно ли остаться таким, как прежде, зная об этой красоте?